



МАРИКЕ ЛУКАС **РЕЙНЕВЕЛД**

МОЙ ДОРОГОЙ ПИТОМЕЦ



INSPIRIA
МОСКВА 2023

УДК 821.112.5-31
ББК 84(4Нид)-44
Р35

Marieke Lucas Rijneveld

MIJN LIEVE GUNSTELING

Mijn lieve gunsteling © 2020 by Marieke Lucas Rijneveld
Originally published by Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam

Перевод с нидерландского *Ксении Новиковой*

Рейневелд, Марики Лукас.

Р35 Мой дорогой питомец / Марики Лукас Рейневелд ;
[перевод с нидерландского К. Новиковой]. — Москва :
Эксмо, 2023. — 320 с.

ISBN 978-5-04-154533-8

«Мой дорогой питомец» — так начинается монолог обвиняемого перед судом, но обращается он к своей возлюбленной. Ему 49, ей 14.

Эта история рассказана ветеринаром, «растлителем малолетних», одержимым дочкой фермера. У нее пшенично-белые волосы и черное, как смоль, воображение. Отношения между ними похожи на отношения хищника и его жертвы, на любовь без любви. Она для него — милый зверек, он — единственный человек, который ее понимает.

Это темный, бурлящий поток мыслей, с главами без единого разрыва строки и извилистыми предложениями. Двусмысленность — одна из сильных сторон этого романа. Конечно, как и в случае с «Лолитой» Набокова, здесь мы имеем дело с очень ненадежным рассказчиком.

УДК 821.112.5-31
ББК 84(4Нид)-44

ISBN 978-5-04-154533-8

© Новикова К., перевод на русский
язык, 2023
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2023

Это вымышленная история. Все имена, персонажи, места и события — плод фантазии писателя или фикция. Любое сходство с реальными людьми, живыми или мертвыми, событиями или обстоятельствами является совершенно случайным.

Для тебя

*Познай же меня,
Узнай, кто есть я, и познай меня.*

Псалом 139
(в переложении
Антоня Кортевега)

Лето 2005

1

Дорогой питомец, моя дорогая питомица, скажу тебе это сразу: в тот строптивый горячий сезон мне надо было вырезать тебя, как вырезают абсцесс из кориума копытным ножом, я должен был освободить место в межкопытцевой щели между когтями, чтобы в ней не задерживались навоз и грязь, и не могла пристать никакая зараза, а может, мне следовало просто почистить и отшлифовать тебя на станке, отмыть тебя дочиста и высушить тебя насухо со шкуркой. Как я мог забыть предупреждение, которое слышал во время обучения ветеринарному делу на занятиях по обрезке копыт и заболеваниях кориума, о ламините, о болезни Мортелларо, также называемой «вонючей ногой», о том, что нам продолжали до тошноты повторять — нужно быть осторожными: «Не резать по живому, никогда не вредить живому», — говорили нам снова и снова. Дорогая питомица, скажу тебе это сразу: мне нужно было вырезать тебя еще тогда в разгар того дерзкого и жаркого сезона, как вырезают коровам копытным ножом нарыв в межкопытных щелях, чтобы навоз и грязь не попадали туда и чтобы никто больше не смог тебя заразить. А может быть, мне нужно было тебя просто почистить, отшлифовать, отмыть и хорошенько высушить. Боже мой, как же я мог забыть все те пред-

упреждения, которые нам бесконечно повторяли на занятиях в ветеринарной школе, на уроках, когда нам рассказывали об обрезке копыт, болезнях копытной роговицы, строптивости животных, болезни Мортелларо, которую еще называют «копытной гнилью». Раз за разом нам продолжали повторять — всегда будьте осторожны, чтобы не задеть при обрезке живую ткань. Никогда нельзя приносить вред живому.

Но моя слабость, моя порочность! В то строптивное лето ты лежала, как теленок в тазовом предлежании, в яслях моих болезненных вожделений, я был соучастником безумия, я не знал, как можно не хотеть тебя, тебя, мою небесную избранницу, и чем чаще я сидел на корточках среди дымящихся тел голландских коров и ощущал твое неотразимое присутствие совсем рядом в только что скошенной траве, что росла вперемешку с вечнозеленым иберисом, где ты часами тренировалась играть песню The Cranberries, полусогнутая над грифом своей белоснежной гитары под сенью груши, тем неистовее я надеялся на смещение сычуга или удаление межпальцевой фибромы, чтобы остаться с тобой подольше и послушать, как ты начинаешь песню заново, если ошибаешься аккордом или берешь высокую ноту своим жемчужно-ангельским голосом, а затем замолкаешь — тогда я замирал и представлял, как ты сдуваешь прядь волос с розовощекого лица, а прядь снова и снова падает вниз, и ах, ты так красиво ее сдувала, как ребенок сдувает пух с одуванчика, ты пела о танках, бомбах, пушках, о войне, но чем бы я ни занимался, я думал о тебе, да, я думал о тебе, когда надевал прозрачную оранжевую перчатку длиной до плеча, смазанную ветеринарным лубрикантом VetGel, и

проникал во влагище мясомолочной коровы, или когда моя рука обхватывала ноги скользкой от околоплодной оболочки телочки или теленка и осторожно тянула их в ритме схваток, а другая рука успокаивающе потирала липкий бок коровы-матери, когда я тихо с ней говорил и иногда даже шептал ей какие-то строчки из Беккета, которые я не собираюсь здесь повторять: кроме тебя и голландских коров они никого не трогали — и каждый раз я жаждал, чтобы ты бродила неподалеку, когда я надевал свой зеленый ветеринарный халат, застегивал пуговицы и шел работать, а потом надеялся, что ты мне улыбнешься, как всегда мило улыбалась жилистым работникам на ферме, которые во время обеденного перерыва прятались за стеной из бутербродов на кухонном столе, бутербродов с толстым слоем масла и копченой колбасой; но они не осмеливались за тобой приударить, ты была из тех животных, с которыми их не учили обращаться, у тебя не было четырех желудков, а был всего один, ненасытный, и я знал тебя с детства, я знал тебя как облупленную, хотя ты была слишком маленькой, чтобы тебя желать, и в то же время слишком живой и нетерпеливой для опеки и покровительства, и по твоему поведению я понимал, что ты хотела избавиться от родительской власти, от фермы, на которой выросла и которая носила имя Де Хюлст — она была названа в честь В.Х. ван де Хюлста¹, единственного писателя, которого знал и прочитал от корки до корки твой па: в хорошие дни он читал тебе вслух, и потом тебе снилось,

¹ Виллем Хэррит ван де Хюлст — нидерландский детский писатель, автор учебников и детской Библии.

что ты стала сахарной булочкой, что все были от тебя в восторге и хотели откусить кусочек, и что тебе приходилось защищать свое сладкое тело от короля, сладкоежек и муравьев; и, возможно, мне стоило отнестись к этому сну серьезно, думаю я теперь, когда пишу эти строки, хотя никогда не имел намерения это писать, — обычно я обращал внимание на твое поведение, а не на сны: на то, как ты отделяла себя не только от фермы, но и от близлежащих коровников, на крышах которых лежал асбест — твой отец отказался убирать его, потому что только Богу, а не куску старого гофрированного железа, старым гофрированными пластинам, дано право решать, заболеешь ты раком или нет, и от Него ты тоже хотела освободиться, хотела убежать от Бога, и в то же время боялась Его гнева, Его Страшного Суда, и иногда ты шептала в постели строки из сто восемнадцатого псалма: *«Душа моя иставивает от скорби: укрепи меня по слову Твоему. О, освободи меня от моей страшной боли»*. Но больше всего ты хотела освободиться от своего отца, человека мягкого, но одновременно очень строгого, полного причуд и капризов, от которого ты хотела отделиться, а он по-прежнему хотел заботиться о тебе, как ты заботилась о Хулигане, вашем упрямом быке: ты одна могла погладить его после того, как он поел или покрыл корову — иногда вы одалживали его другим фермерам и за каждое спаривание получали деньги, которые складывали в банку из-под варенья, что стояла над камином на кухне, и на эти деньги вы ездили в отпуск; да, Хулиган оплачивал ваши каникулы в Зеландии, и там, когда ваш отец давал вам что угодно, от намазки для бутерброда до книжек про Дональда Дака, он сопровождал

это словами: «Благодарите Хулигана». Я слышал, как в твоём голосе прорываются угрюмые и сварливые, недовольные и упрямые нотки, когда отец хотел застегнуть на тебе комбинезон — не ради того, чтобы уберечь тебя от хрусткого свежего утреннего тумана, а просто чтобы на мгновение прикоснуться к тебе, его ребёнку, который все больше выскальзывал из его грубых рук, испещренных морщинами и мозолями; и тогда я смотрел на свои ладони, большие и достаточно сильные, чтобы крепко вцепиться в твои: я и раньше брал руки детей в свои, но все было иначе — это они хватались за меня, а теперь я хотел держать тебя, сплетая свои пальцы с твоими; у тебя на среднем пальце было маленькое пластиковое кольцо с божьей коровкой, ты получила его от ортодонта, когда услышала, что тебе нужна наружная брекет-система, и была потрясена этой ужасной новостью — тогда тебе позволили выбрать себе подарок в шкатулке с утешительными призами-сюрпризами, и ты остановила свой выбор на этом кольце, которое было тебе чуть-чуть велико; я бы часами выводил большим пальцем круги на твоей ладошке, словно жвачное животное, страдающее спинномозговой болезнью, которое ходит по кругу. И во время полдника я лишь вполуха слушал рассказы твоего па, похожего одновременно на молодого Мика Джаггера и Рутгера Хауэра, пока он с энтузиазмом рассказывал о своем скоте, о засухе на полях и на берегу реки, о том, что урожай будет скудным, если зонтичные цветы окажутся слишком вялыми, чтобы собрать их в букет для вазы на столе, а я изредка кивал: на ферме никогда не было ни одной вазы для цветов, и те, кто не держал дома букеты, имели склонность

предаваться безутешным мыслям об урожае, даже если год был хороший и плодородный, но я снова кивал, когда он говорил, что коровы любят однообразный рацион, что они такие же рабы привычки, как и он сам, и что иногда он давал им послушать классическую музыку, Шопена или Вивальди, и тогда молоко вечером было жирнее; и в нужное время я растягивал лицо в улыбке, но на самом деле я хотел узнать все о тебе, хотел обсуждать тебя, как мы обсуждали коров, их течку и строптивый нрав, и я наблюдал за лужайкой, где вы с братом прыгали на батуте, соревнуясь, кто первым сможет допрыгнуть до неба, кто первым сможет пощекотать Христа, — ты хотела защекотать Его до смерти, и потом рассказывала, что в прошлом у древних римлян людей пытали щекоткой: их связывали и заставляли коз долго-долго лизать им пятки; но пока ты прыгала на батуте, все выше и выше, и твои светлые волосы, похожие на пшеничные колоски, танцевали и блестели у нежного лица, я заметил, как быстро тебе надоела эта игра и ты стала смотреть вдаль, поверх поблескивающих кочанов салата в огороде и пучков лука-порея, ты жаждала жизни, которая ожидала тебя там за этой Деревней, ты хотела уехать подальше отсюда, как многие девочки и мальчики твоего возраста хотели уйти с домашнего фронта; некоторые стали солдатами и пошли в армию, чтобы потом снова вернуться домой с ностальгией по камуфляжному цвету этой Деревни, но ты-то была уверена, что никогда не будешь страдать от подобной меланхолии, все, чем ты владела, было внутри твоей головы, и я тогда еще не мог знать, что тебе не хватало ощущения дома, хотя ты и любила ферму Де Хюлст до последней стружки до-

щечки, и одна только мысль, что ты ее покинешь, что уедешь прочь по дамбе Приккебэйнсе, объезжая места с выпавшей брусчаткой, что бросишь папу, одна эта мысль заставила тебя со вздохом отвернуться и снова включиться в игру на батуте; да, тебе плохо давались прощания, *so bad*, как ты говорила потом, и я заметил это довольно быстро: субботним утром ты, насупившись, стояла и мешкала, когда молодых бычков забирали на бойню, ты все обнимала их, и чесала им за ушком, и шептала им неразборчивые слова, и как раз тогда я понял, что эта потеря останется с тобой, и я захотел забрать ее у тебя с помощью противовоспалительных лекарств или, еще лучше, восполнить, несмотря на то, что мы еще ни разу не сказали друг другу ни слова, хотя все эти годы ты смотрела, как я частенько заходил, чтобы осеменить или обследовать корову, и приносила мне ведро с теплой водой и блюдец с куском зеленого мыла, чтобы я мог вымыть руки, испачканные кровью и дерьмом, и протягивала мне старое клетчатое кухонное полотенце, но ни слова не срывалось с твоих прекрасно очерченных губ, которые мне так хотелось потрогать, как я щупал животных, болевших блютангом¹; но у тебя не было блютанга, ты была совершенно здорова и очень обаятельна, и я уже знал, что стану твоим первым мужчиной — ты смотрела на меня так, словно хотела, чтобы тебя полюбили, полюбили как четырнадцатилетнюю взрослую женщину; все четырнадцатилетние хотят, чтобы их видели взрослее, чем они есть, но ты не только хотела этого, ты и вела себя так, и все же в этих изящных и почти иде-

¹ Катаральная лихорадка скота, «синий язык».

альных движениях я все еще видел скрытую детскость, ее-то я и любил в тебе больше всего, так сильно, что иногда у меня внезапно начинала кружиться голова, как будто я слишком много времени провел в испарениях пенициллина; эта детскость была наиболее заметна, когда ты порхала по двору и разговаривала сама с собой, когда в солнечные дни ты по-девчачьи взвизгивала, если твой па брызгал на вас с братом из дождевого шланга, или когда ты, хихикая, гуляла с подружками, твои загорелые ноги болтались в огромных рыбацких сапогах, и вы воображали, что весь мир лежит перед вами, как лопнувшие груши под деревом лежат перед осами, что лакомятся сочной мякотью; вы были осами, сильными и несокрушимыми, но еще я видел, как ты борешься с сумеречной зоной между девушкой и женщиной, борешься, чтобы не стать той, кто никогда не засияет на переднем плане, борешься с потерей, которая как вуаль висела на твоих хрупких плечах, и я наблюдал, как ты в одиночестве бродишь по берегу реки среди высокой травы и рапса позади фермы, когда там уже не было бычков, а телячьи загоны стояли тихие и пустые, а потом, надев дождевик, ты отмывала их миллиметр за миллиметром водой из шланга под высоким напором, словно думала таким образом стереть из головы само существование бычков; и еще я правда знал, что там, на берегу, ты плачешь, я просто знал это, хотя по-настоящему я стал следить за тобой только в начале летних каникул, когда тебе, если быть точным, было четырнадцать лет, два месяца и семнадцать дней, и ты лежала на спине в сене с книгой Роальда Даля «Данни, чемпион мира» над головой, а я долго и тщательно ополаскивал вилы под

краном сбоку от коровника; я знал, что на какое-то время ты почувствовала себя в безопасности, представляла себя в мире, где тебя понимали, где ты хотела бы остаться навсегда, я слышал, что иногда ты смеялась и лежала там так долго, что сено примялось, и отпечаток твоего тела оставался на нем еще долго после того, как ты ушла, и я положил руку на высушенные травинки, которые все еще хранили остаточный свет; я действительно хотел, чтобы ты всегда себя так чувствовала, правда хотел, но все изменилось тогда, когда ты, если быть точным, седьмого июля, заговорила со мной — в тот день я впервые стал оставлять карандашные отметки в ящичке электрического счетчика, чтобы следить, сколько ночей остается до приезда на вашу ферму для еженедельного осмотра коров, и в тот самый летний день, когда ветер дул преимущественно с юго-востока, а я беззаботно подпевал песне, звучавшей по радио в доильном зале; я обычно не подпеваю, но в тот день меня охватила какая-то легкость и ясность, и так удачно складывалось, что мне удалось остаться у вас подольше: было много хромых коров, коров с опоясывающим лишаем или с дефицитом кальция, и я даже не заметил, как ты вошла, но вдруг услышал, как ни с того ни с сего ты сказала, что эта песня не из твоих любимых, и ты прислонилась к охлаждающему резервуару для молока и добавила, что твои любимые песни редко крутят по радио, их приходится искать в магазине компакт-дисков и пластинок в городе на другом берегу озера, на другом берегу Вудеплас, но ты сказала, что песня все равно красивая, потому что она драматичная; в клипе певица с размазанной тушью пела ее в черном такси марки